

Москва в лицах: о судьбе Бориса Пастернака

Вечности заложник

Лев КОЛОДНЫЙ

И там, в Кремле, в пучине мрака,
Хотел понять двадцатый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака...
Н. КОРЖАВИН.

БОРИС ПАСТЕРНАК прожил 70 лет, для стихотворца срок почти предельный. Умер в Переделкине на даче, в кругу семьи. Хотя ни разу не арестовывался, даже не вызывался на допрос, избежал тюрьмы и ссылки, о лагерях знал только со слов очевидцев, однако на его долю выпали страдания, которые дают все основания причислить поэта к великомученикам русской литературы XX века.

Судьба и творчество Бориса Пастернака с каждым годом привлекают внимание все большего числа людей. Приближающееся столетие со дня его рождения отмечается не только на Родине, но и во многих странах Европы и Америки, вызывает поток новых изданий произведений, счет которым начал в 1913 году в Москве.

Борис Пастернак, современник Владимира Маяковского, привлек к себе всеобщее, всемирное внимание на закате жизни, в конце 50-х годов, когда его была известность середины тридцатых годов почти угасла. С тех пор это внимание, особенно на Родине, не ослабевает, растет, что говорит о непреходящей ценности поэтических открытий. И это при том, что почитать Пастернака, особенно ранние стихи, непросто.

Даже такой знаток поэзии, как член Политбюро ЦК партии, нарком по военным и морским делам Лев Троцкий при первой встрече с автором (она случилась летом 1922 года до известной встречи с Сергеем Есениным в Кремле) признался:

— Я вчера только начал продираться сквозь густой кустарник вашей книги. Что вы хотели в ней выразить?

— Это надо спросить у читателя. Вот вы сами и решите, — ответил автор, ничуть не смущаясь высоким положением собеседника, тогда второго человека в руководстве.

В письме Валерию Брюсову по поводу этого свидания читаем:

«Перед самым отъездом меня вызвал Троцкий. Он более получаса беседовал со мною о предметах литературных.

Он спросил, ссылаясь на «Сестру» (имеется в виду сборник под названием «Сестра моя — жизнь». — Л. К.) и еще кое-что ему известное, отчего я «воздерживаюсь» от откликов на общественные темы. Вообще он меня очаровал и привел в восхищение, надо также сказать, что со своей точки зрения он совершенно прав, задавая мне такие вопросы. Ответы и разъяснения мои сводились к защите индивидуализма истинного как новой социальной клеточки нового социального организма».

К счастью Бориса Пастернака, высокопоставленный литературовед так и не продвинулся сквозь кустарник метафор и не обмолвился о книге «Сестра моя — жизнь» на страницах «Правды», где публиковалась серия его статей о «внеоктябрьской» литературе.

При встрече с сильными мира сего поэт ничего для себя не просил, не извлекал выгоды, оказавшись в центре общественного внимания. Он всегда оставался самим собой, плыл против течения, если кому-то что-то было непонятно, готов был объяснить свою позицию, но с этой позиции, как с укрепленного рубежа, не сходил.

Получив возможность выступать в Колонном зале, где в обстановке всеобщего подъема проходил Первый съезд писателей, он не устранился сказав собравшимся по перу:

«Не жертвуйте лицом ради положения... При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной, и плодотворной любви к Родине и нынешним величайшим людям».

Если бы тогда послушали этого совета Александр Фадеев, Алексей Сурков и другие, кто пожертвовал ради положения лицом и стал не только сановником, но и прокурором писательского сообщества, как много бы трагических ошибок не произошло, как выиграла бы литература...

Кого имел в виду поэт под «величайшими людьми»?

Первого из них — Ленина — он увидел на Съезде Советов, в переполненном людьми Большом театре, в конце 1921 года, когда тот произносил историческую речь, призвал страну следовать курсом новой экономической политики.

На Пастернака ленинская речь произвела, как и на всех в зале, сильнейшее впечатление, оно отчеканилось позднее в финале поэмы «Высокая болезнь»:

Тогда его увидев вяле,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Держать от первого лица.

Далее следуют пророческие строчки, все значение которых только сегодня понимается каждым:

Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвещьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

При повторном издании поэмы эти строки, написанные в 1928 году, вымарали. Гнет, предсказанный перед началом «великого перелома», испытан на себе каждый в стране, а исходил он от того, кого автор относил одно время к разряду «нынешних величайших людей».

По рассказу Пастернака, который неоднократно слышала от него и записала Ольга Ивинская (ближайшее и доверенное лицо последних четырнадцати лет жизни поэта), встреча со Сталиным произошла в середине двадцатых годов. Он пригласил к себе сразу трех великих поэтов — Есенина, Маяковского и Пастернака. С каждым беседовал по отдельности, хотя речь шла об одном — переводе грузинских поэтов. Сталин хотел привлечь к этому делу

вождем, когда стали известны масштабы сталинских преступлений, Пастернак описывал его так:

«На меня из полумрака выдвинулся человек, похожий на краба. Все его лицо было желтого цвета, испещренное рябинками. Топорщились усы. Этот человек-карлик, непомерно широкий и вместе с тем напоминавший по росту двенадцатилетнего мальчика, но с большим старообразным лицом».

Однако такой образ сформировался не сразу. Подобно многим литераторам, как советским, так и иностранным, а среди них оказались первые лица мировой культуры, Пастернак находился под сильным гипнозом Сталина. На какое-то время ему удалось «очаровать» поэта, который не сразу возложил на вождя главную ответственность за «гнет», пытался даже найти какое-то историческое оправдание творимым жестокостям, искал аналогий в прошлом и находил:

...Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Эти строки, датированные 1931 годом.

«В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей, — вспоминал Борис Пастернак, — стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Я целый год не мог спать».

Однако то потрясение еще не принесло окончательного прозрения. Москва в начале тридцатых годов бурно росла, менялась на глазах. Сносились древние кварталы, расширялись улицы, возводились многоэтажные дома. Под землей помчались поезда метро, исчезли извозчики, загрохотали автомашины советского производства.



В первый день 1936 года на страницах «Известий», все еще редактируемых Николаем Бухариным, тем, кто, выступая на Первом съезде писателей, дал высокую оценку творчеству Пастернака, появились два восторженных стихотворения, полные веры в будущее. В одном из них рядом с именем Ленина стояло имя Сталина.

А в те же дни на расстоянии
За древней каменной стеной
Живет не человек, — дьявель:
Поступок ростом с шар земной.

По-видимому, публикация этих опусов не осталась незамеченной тем, кто пристально следил за всеми литературными новинками, сам в юности сочинял прочувствованные стихи на русском языке, отдав позднее предпочтение политике на горе своим несостоявшимся читателям.

Незадолго до той публикации в Союз писателей позвонил помощник Сталина Поскребышев и распорядился срочно послать в Париж на международный конгресс, куда уже отбыла советская делегация, Бабеля и Пастернака.

Поэту бы возликовать по поводу представившейся тогда уже редкой возможности, а он не захотел ехать. Снова позвонил помощник:

— Передайте товарищам Пастернаку и Бабелю, что это просьба товарища Сталина...

Пришлось срочно упаковывать вещи и шить парадный костюм в закрытом ателье по ордеру, выданному по сему случаю.

Спустя год после публикации в «Известиях» начался большой террор, полетели головы и многих писателей, в том числе попутчика Пастернака по поездке в Париж...

Однако самого поэта казнь миновала. Почему?

Рассказывают, что когда в очередном проскрипционном списке, представленном «величайшему из людей», оказалась фамилия Пастернака, прокуратор отменил приговор словами: «Не трогайте этого небожителя».

Кроме встречи по поводу переводов с грузинского, у Сталина с поэтом состоялся один телефонный разговор на тему гораздо более острую, во время которой, очевидно, и укрепилось сложившееся мнение о Пастернаке — «небожителе».

Звонку предшествовала драма. На Тверском бульваре, чья литературная традиция восходит к Пушкину, где ступала нога всех великих поэтов России, весенним днем 1934 года Осип Мандельштам прочел Борис Пастернаку стихи, ныне известные многим:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на пол-разговора,
Там припомним кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усищи,
И сияют его голенищи.
А вокруг него сброд тонкошеих
вождей —
Он играет услугами полулюдей:
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет —
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подковы, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,
кому в глаз...
Что ни казнь у него, то малина,
И широкая грудь осетина.

Пастернак, еще не готовый разделить такую оценку, понимая, что грозит не только ему, но и другим, ответил:

Вот тогда, после ареста Мандельштама, в мае 1934 года, зазвонил телефон в коридоре коммунальной квартиры на Волхонке, и в трубке, плотно прижимаемой к уху, Пастернак услышал голос Сталина. Прежде чем тот начал говорить, поэт успел сообщить, что плохо слышит, поскольку в коридоре бегают дети. Унять их — ему не приходило в голову.

— Скажи-ка, что говорят в ваших литературных кругах об аресте Мандельштама? — прозвучал первый вопрос.

— Вы знаете, ничего не говорят, потому что есть ли у нас литературные круги, и кругов литературных нет, никто ничего не говорит, потому что все не знают, что сказать, боятся.

Вот так, в свойственной ему манере, повел разговор поэт, понимавший, что от этого собеседования будет зависеть судьба не только арестованного, но и его самого. Кто ответить, если вдруг Сталин задаст прямой вопрос о стихах про «кремлевского горца»? Прямодушный собеседник мог выдать свою осведомленность об этих, как считал Пастернак, «самоубийственных» строчках.

Однако о них разговор не пошел. После затянувшегося молчания, обдумав ответ поэта, вождь задал вопрос иного свойства:

— Ну хорошо, а теперь скажи мне, какого ты сам мнения о Мандельштаме? Каково твоё отношение к нему как к поэту?

— Конечно, он очень большой поэт, но у нас нет никаких точек соприкосновения — мы ломаем стих, — ответил Пастернак, стараясь увести разговор в область литературоведения, — а он академической школы...

Затем довольно долго, взахлеб распространялся на эту тему, далекую от цели, которую ставил перед собой Сталин.

— Ну вот, ты и не сумел защитить товарища, — сказал вождь и, не прощаясь, повесил трубку, после чего не ожидавший такого поворота, обескураженный Пастернак наивно пытался сам дозвониться в Кремль, а ему телефонистки отвечали, что «товарищ Сталин занят».

Такова версия, излагаемая Ольгой Ивинской, записавшей воспоминания Пастернака. В мемуарах об этом же пишет Анна Ахматова, на глазах которой происходил арест Мандельштама. Она бросилась за помощью в Кремль, к всеильному тогда Енукидзе, секретарю ВЦИК. Пастернак поспешил к Бухарину, не утратившему «еще всего бывшего влияния. Ахматова отмечает: Сталин, прежде чем задать вопрос, сообщил, что отдано распоряжение и что с Мандельштамом будет все в порядке.

Он спросил Пастернака, почему тот не хлопочет. «Если мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились в писательские организации?». — «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». — «Но ведь он ваш друг?». Пастернак замаялся, и Сталин после недолгой паузы продолжал вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?». Пастернак ответил: «Этот не имеет значения». Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стих, и этим он объяснил свои шаткие ответы. «Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так так давно хотел с вами поговорить». — «О чем?». — «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.

Замаялся Пастернак по вполне понятной причине — другом Мандельштама он никогда не считал, они порой встречались, иногда Мандельштам заходил в гости, читал стихи, давал советы, в частности — не заниматься переводами... Но все это — далеко от дружбы в ее истинном понимании. Жене Пастернака казалось, что Мандельштам ведет себя по отношению к ее мужу высокомерно. Его истинными друзьями из круга литераторов были грузинские поэты, их жены.

Надежда Мандельштам писала: «Борис Леонидович разговаривал со своим собеседником, как он разговаривал со всеми людьми, — со мной, с Анной Андреевной (Ахматовой). — Л. К.), с кем угодно. Именно поэтому что-то было здорово сказано — неожиданно точно до предела. И мы трое — А. А., О. Э. (Осип Мандельштам — Л. К.) и я — очень это оценили».

Оценили, по словам Ахматовой, на «крепкую четверку».

Что было сказано «неожиданно точно до предела»?

Может быть, те слова, которые поведал поэт скульптору Зое Маслениковой спустя много лет после телефонного звонка? «Поэты, как красивые женщины, им трудно оценить достоинства друг друга».

Сказал и более определенно:

«Если Вам нужно заверение, что Мандельштам — советский человек, я вам его даю».

Сказать такое после знакомства со стихами о «кремлевском горце, душегубе и мужикоборце» было мужественно, если не сказать больше.

Пастернак вел себя не так, как все. То неожиданно для окружающих бросался на помощь шельмуемому, как случилось, когда началась травля Пильняка и других писателей, чем вызвал огонь на себя. То отказался подписать письмо, осуждавшее французского писателя за книгу об СССР. Своё решение мотивировал так:

— Я не читал книгу...

Поэт не присоединился к хору тех, кто требовал казнить маршала Тухачевского... Написал душевное письмо оланному Бухарину. Спасала Пастернака от кары, по-видимому, репутация «небожителя», чуть ли не шута, которым, как известно, только и позволялось при деспотах говорить правду.

После репрессий 1937—1939 годов Пастернак резко изменил точку зрения на Сталина, он больше не напоминал ему Петра.

Пастернак стал жить с постоянным чувством, что в любой момент за ним также могут прийти, как пришли за двоюродным братом, за Табидзе, Мандельштамом, Мейерхольдом, сотнями других его знакомых, родственников, друзей. Однако, несмотря на постоянно испытываемый страх, он стремился «сохранить лицо». Стихов о Сталине больше не сочинял, в то время как это стало нормой поведения.

За анакомысией его пачеда публично прорабатывать, перестали приглашать в президиумы собраний, на страницы газет и журналов, а главное — прекратили губ-

И там, в Кремле, в пучине мрака,
Хотел понять двадцатый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака...
Н. КОРЖАВИН.

БОРИС ПАСТЕРНАК прожил 70 лет, для стихотворца срок почти предельный. Умер в Переделкине на даче, в кругу семьи. Хотя ни разу не арестовывался, даже не вызывался на допрос, избежал тюрьмы и ссылки, о лагерях знал только со слов очевидцев, однако на его долю выпали страдания, которые дают все основания причислить поэта к великомученикам русской литературы XX века.

Судьба и творчество Бориса Пастернака с каждым годом привлекают внимание все большего числа людей. Приближающееся столетие со дня его рождения отмечается не только на Родине, но и во многих странах Европы и Америки, вызывает поток новых изданий произведений, счет которым начат в 1913 году в Москве. Борис Пастернак, современник Владимира Маяковского, привлек к себе всеобщее, всемирное внимание на закате жизни, в конце 50-х годов, когда его была известность середины тридцатых годов почти угасла. С тех пор это внимание, особенно на Родине, не ослабевает, растет, что говорит о непреходящей ценности поэтических открытий. И это при том, что понять Пастернака, особенно ранние стихи, непросто.

Даже такой знаток поэзии, как член Политбюро ЦК партии, нарком по военным и морским делам Лев Троцкий при первой встрече с автором (она случилась летом 1922 года до известной встречи с Сергеем Есениным в Кремле) признался: — Я вчера только начал продирать сквозь густой кустарник вашей книги. Что вы хотели в ней выразить?

— Это надо спросить у читателя. Вот вы сами и решите, — ответил автор, ничуть не смущаясь высоким положением собеседника, тогда второго человека в руководстве.

В письме Валерию Брюсову по поводу этого свидания читаем:

«Перед самым отъездом меня вызвал Троцкий. Он более получаса беседовал со мною о предметах литературных.

Он спросил, ссылаясь на «Сестру» (имеется в виду сборник под названием «Сестра моя — жизнь»). — А. К.) и еще кое-что ему известное, отчего я «воздерживаюсь» от откликов на общественные темы. Вообще он меня очаровал и привел в восхищение, надо также сказать, что со своей точки зрения он совершенно прав, задавая мне такие вопросы. Ответы и разъяснения мои сводились к защите индивидуализма истинного как новой социальной клеточки нового социального организма».

К счастью Бориса Пастернака, высокопоставленный литературовед так и не продрались сквозь кустарник метафор и не обмолвился о книге «Сестра моя — жизнь» на страницах «Правды», где публиковалась серия его статей о «внеоктябрьской» литературе.

При встрече с сильными мира сего поэт ничего для себя не просил, не извлекал выгоды, оказавшись в центре общественного внимания. Он всегда оставался самим собой, плыл против течения, если кому-то что-то было непонятно, готов был объяснить свою позицию, но с этой позиции, как с укрепленного рубежа, не сходил.

Получив возможность выступать в Колонном зале, где в обстановке всеобщего подъема проходил Первый съезд писателей, он не устранился сказать собратям по перу:

«Не жертвуйте лицом ради положения... При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной, и плодотворной любви к Родине и нынешним величайшим людям».

Если бы тогда послушали этого совета Александр Фадеев, Алексей Сурков и другие, кто пожертвовал ради положения лицом и стал не только сановником, но и прокурором писательского сообщества, как много бы трагических ошибок не произошло, как выиграла бы литература...

Кого имел в виду поэт под «величайшими людьми»?

Первого из них — Ленина — он увидел на Съезде Советов, в переполненном Большом театре, в конце 1921 года, когда тот произносил историческую речь, призвал страну следовать курсом новой экономической политики.

На Пастернака ленинская речь произвела, как и на всех в зале, сильнейшее впечатление, оно отчеканилось позднее в финале поэмы «Высокая болезнь»:

Тогда его увидев ввьяе,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.

Далее следуют пророческие строчки, все значение которых только сегодня понимается каждым:

Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед,
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

При повторном издании поэмы эти строки, написанные в 1928 году, вымарали. Гнет, предсказанный перед началом «великого перелома», испытал на себе каждый в стране, а исходил он от того, кого автор относил одно время к разряду «нынешних величайших людей».

По рассказу Пастернака, который неоднократно слышал от него и записала Ольга Ивинская (ближайшее и доверенное лицо последних четырнадцати лет жизни поэта), встреча со Сталиным произошла в середине двадцатых годов. Он пригласил к себе сразу трех великих поэтов — Есенина, Маяковского и Пастернака. С каждым беседовал по отдельности, хотя речь шла об одном — переводе грузинских поэтов. Сталин хотел привлечь к этому делу лучших русских стихотворцев.

«Он говорил, стараясь очаровать, говорил, что от них ждут настоящего творческого пафоса, что они должны взять на себя роль «глашатаев эпохи».

Маяковский — родом из Грузии. Есенин подолгу бывал в ней. Переводами не занимались. Пастернак впоследствии много переводил грузинских поэтов: не исключено, что та встреча сыграла в этом деле некую роль.

Спустя многие годы после беседы с

вождем, когда стали известны масштабы сталинских преступлений, Пастернак описывал его так:

«На меня из полумрака выдвинулся человек, похожий на краба. Все его лицо было желтого цвета, испещренное рябинками. Топорщились усы. Этот человек — карлик, непомерно широкий и вместе с тем напимавший по росту двенадцатилетнего мальчика, но с большим старообразным лицом».

Однако такой образ сформировался не сразу. Подобно многим литераторам, как советским, так и иностранным, а среди них оказались первые лица мировой культуры, Пастернак находился под сильным гипнозом Сталина. На какое-то время ему удалось «очаровать» поэта, который не сразу возложил на вождя главную ответственность за «гнет», пытался даже найти какое-то историческое оправдание творимым жестокостям, искал аналогий в прошлом и находил:

...Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Это строки, датируемые 1931 годом.

«В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей, — вспоминал Борис Пастернак, — стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Я целый год не мог спать».

Однако то потрясение еще не принесло окончательного прозрения. Москва в начале тридцатых годов бурно росла, менялась на глазах. Сносились древние кварталы, расширялись улицы, возводились многоэтажные дома. Под землей помчались поезда метро, исчезли извозчики, загрохотали автомашины советского производства.



В первый день 1936 года на страницах «Известий», все еще редактируемых Николаем Бухариным, тем, кто, выступая на Первом съезде писателей, дал высокую оценку творчеству Пастернака, появились два восторженных стихотворения, полные веры в будущее. В одном из них рядом с именем Ленина стояло имя Сталина.

А в те же дни на расстоянии
За древней каменной стеной
Живет не человек, — деянье:
Поступок ростом с шар земной.

По-видимому, публикация этих опусов не осталась незамеченной тем, кто пристально следил за всеми литературными новинками, сам в юности сочинял прочувствованные стихи на русском языке, отдавая позднее предпочтение политике на горе своим несостоявшимся читателям.

Незадолго до той публикации в Союз писателей позвонил помощник Сталина Поскребышев и распорядился срочно послать в Париж на международный конгресс, куда уже отбыла советская делегация, Бабеля и Пастернака.

Поэту бы возликовать по поводу представившейся тогда уже редкой возможности, а он не захотел ехать. Снова позвонил помощник:

— Передайте товарищам Пастернаку и Бабелю, что это просьба товарища Сталина...

Пришлось срочно упаковывать вещи и шить парадный костюм в закрытом ателье по ордеру, выданному по сему случаю.

Спустя год после публикации в «Известиях» начался большой террор, полетели головы и многих писателей, в том числе попутчика Пастернака по поездке в Париж...

Однако самого поэта казнь миновала. Почему?

Рассказывают, что когда в очередном проскрипционном списке, представленном «величайшему из людей», оказалась фамилия Пастернака, прокуратор отменил приговор словами: «Не трогайте этого небожителя».

Кроме встречи по поводу переводов с грузинского, у Сталина с поэтом состоялся один телефонный разговор на тему гораздо более острую, во время которой, очевидно, и укрепилось сложившееся мнение о Пастернаке — «небожителе».

Звонку предшествовала драма. На Тверском бульваре, чья литературная традиция восходит к Пушкину, где ступала нога всех великих поэтов России, весенним днем 1934 года Осип Мандельштам прочел Борису Пастернаку стихи, ныне известные многим:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомним кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеют усами,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих

вождей —

Он играет услугами полулюдей:

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет —

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы, нует за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,

кому в глаз...

Что ни казнь у него, то малина,

И широкая грудь осетина.

Пастернак, еще не готовый разделить такую оценку, понимая, что грозит не только автору, но и слушателям, твердо заявил:

— Я этого не слышал, вы этого мне не читали, потому что, знаете, сейчас начались странные, страшные явления: людей начали хватать: я боюсь, что стены имеют уши, может быть, скамейки бульваров тоже имеют способность слушать, разговаривать, так что будем считать, что я ничего не слышал.

Но кому по долгу службы следовало, те довольно скоро услышали крамольные стихи и донесли о них.

Вот тогда, после ареста Мандельштама, в мае 1934 года, зазвонил телефон в коридоре коммунальной квартиры на Волхонке, и в трубке, плотно прижимаемой к уху, Пастернак услышал голос Сталина. Прежде чем тот начал говорить, поэт успел сообщить, что плохо слышит, поскольку в коридоре бегают дети. Унять их — ему не приходило в голову.

— Скажи-ка, что говорят в ваших литературных кругах об аресте Мандельштама? — прозвучал первый вопрос.

— Вы знаете, ничего не говорят, потому что есть ли у нас литературные круги, и кругов литературных нет, никто ничего не говорит, потому что все не знают, что сказать, боятся.

Вот так, в свойственной ему манере, повел разговор поэт, понимавший, что от этого собеседования будет зависеть судьба не только арестованного, но и его самого. Что ответить, если вдруг Сталин задаст прямой вопрос о стихах про «кремлевского горца»? Прямодушный собеседник мог выдать свою осведомленность об этих, как считал Пастернак, «самоубийственных» строчках.

Однако о них разговор не пошел. После затянувшегося молчания, обдумав ответ поэта, вождь задал вопрос иного свойства:

— Ну хорошо, а теперь скажи мне, какого ты сам мнения о Мандельштаме? Каково твоё отношение к нему как к поэту?

— Конечно, он очень большой поэт, но у нас нет никаких точек соприкосновения — мы делаем стихи, — ответил Пастернак, стараясь увести разговор в область литературоведения, — а он академической школы...

Затем довольно долго, вздохнув, распространялся на эту тему, далекую от цели, которую ставил перед собой Сталин.

— Ну вот, ты и не сумел защитить товарища, — сказал вождь и, не прощаясь, повесил трубку, после чего не ожидавший такого поворота, обескураженный Пастернак наивно пытался сам дозвониться в Кремль, а ему телефонистки отвечали, что «товарищ Сталин занят».

Такова версия, излагаемая Ольгой Ивинской, записавшей воспоминания Пастернака. В мемуарах об этом же пишет Анна Ахматова, на глазах которой происходил арест Мандельштама. Она бросилась за помощью в Кремль, к всеильному тогда Енукидзе, секретарю ВЦИК. Пастернак поспешил к Бухарину, не утратившему еще всего бывшего влияния. Ахматова отмечает: Сталин, прежде чем задать вопрос, сообщил, что отдано распоряжение и что с Мандельштамом будет все в порядке.

Он спросил Пастернака, почему тот не хлопочет. «Если мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились в писательские организации?». — «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». — «Но ведь он ваш друг?». Пастернак замаялся, и Сталин после недолгой паузы продолжал вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?». Пастернак ответил: «Это не имеет значения». Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стих, и этим он объяснил свои шаткие ответы. «Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так так давно хотел с вами поговорить». — «О чем?». — «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.

Замаялся Пастернак по вполне понятной причине — другом Мандельштама он никогда не считал, они порой встречались, иногда Мандельштам заходил в гости, читал стихи, давал советы, в частности — не заниматься переводами... Но все это — далеко от дружбы в ее истинном понимании. Жене Пастернака казалось, что Мандельштам ведет себя по отношению к ее мужу высокомерно. Его истинными друзьями из круга литераторов были грузинские поэты, их жены.

Надежда Мандельштам писала: «Борис Леонидович разговаривал со своим собеседником, как он разговаривал со всеми людьми, — со мной, с Анной Андреевной (Ахматовой). — А. К.), с кем угодно. Именно поэтому что-то было здорово сказано — неожиданно точно до предела. И мы трое — А. А., О. Э. (Осип Мандельштам — А. К.) и я — очень это оценили».

Оценили, по словам Ахматовой, на «крепкую четверку».

Что было сказано «неожиданно точно до предела»?

Может быть, те слова, которые поведал поэт скульптору Зое Маслениковой спустя много лет после телефонного звонка? «Поэты, как красивые женщины, им трудно оценить достоинства друг друга».

Сказал и более определенно:

«Если Вам нужно заверение, что Мандельштам — советский человек, я вам его даю».

Сказать такое после знакомства со стихами о «кремлевском горце, душегубе и мужикоборце» было мужественно, если не сказать больше.

Пастернак вел себя не так, как все. То неожиданно для окружающих бросался на помощь шельмуемому, как случилось, когда началась травля Пильняка и других писателей, чем вызвал огонь на себя. То отказался подписать письмо, осуждавшее французского писателя за книгу об СССР. Своё решение мотивировал так:

— Я не читал книгу...

Поэт не присоединился к хору тех, кто требовал казнить маршала Тухачевского... Написал душевное письмо ольному Бухарину. Спасала Пастернака от кары, по-видимому, репутация «небожителя», чуть ли не шута, которым, как известно, только и позволялось при деспотах говорить правду.

После репрессий 1937—1939 годов Пастернак резко изменил точку зрения на Сталина, он больше не напоминал ему Петра.

Пастернак стал жить с постоянным чувством, что в любой момент за ним также могут прийти, как пришли за двоюродным братом, за Табидзе, Мандельштамом, Мейерхольдом, сотнями других его знакомых, родственников, друзей. Однако, несмотря на постоянно испытываемый страх, он стремился «сохранить лицо». Стихов о Сталине больше не сочинял, в то время как это стало нормой поведения.

За инакомыслие его начали публично прорабатывать, перестали приглашать в президиумы собраний, на страницах газет и журналов, а главное — прекратили публиковать.

Пришлось взяться за переводы, в том числе — с грузинского.

Таким образом собственное творчество заморозилось, но жизнь поэта не оборвалась в годы большого террора, продлилась на двадцать с лишним лет. Подвиг великомученика ему суждено было совершить в преклонном возрасте, в старости, хотя это слово никак не вяжется с образом поэта.

(Окончание следует)